

DOI 10.15826/izv2.2019.21.2.030

УДК 821.161.1-31 Мамин-Сибиряк +  
+ 821.161.1-31 Пришвин + 316.6**А. А. Медведев***Тюменский государственный университет*  
Тюмень, Россия**Д. Н. МАМИН-СИБИРЯК  
В ДНЕВНИКОВОЙ РЕФЛЕКСИИ М. М. ПРИШВИНА**

В статье впервые анализируется рефлексия Пришвина о Мамине-Сибиряке в дневнике 1930–1950-х гг. Творчество Мамина актуализируется Пришвиным в 1930–1950-е гг., когда тексты писателя становятся для Пришвина важнейшим источником глубинного понимания национальной и социальной психологии (ценностных установок) русского человека, уральского купечества. В «большом времени» русской истории Пришвин соотносит «Слово о полку Игореве» и роман «Черты из жизни Пепко» (1894), выявляя сближающее эти тексты внутреннее чувство родины. Мамин значим для Пришвина как выразитель жизнеутверждающей тенденции в русской литературе, вопреки нигилизму его времени. Пришвину важно, что Мамин, как и он сам, избежал как утопизма революционной интеллигенции, так и утопизма символистов. Пришвин разрушает сложившийся идеологический стереотип о Мамине как писателе-натуралисте, «русском Золя». Пришвин ставит Мамина в один ряд с Толстым и Аксаковым, видя себя продолжателем именно этой линии в русской литературе. Фигура Мамина стала ключевой для Пришвина в его писательском самоопределении и его творческом пути. Пришвин воспринимает Мамина как продолжателя традиции русской классической литературы, восходящей к древнерусской традиции («Слово о полку Игореве»). Пришвинское понимание Урала в восприятии Мамина как «домовитой провинции» вызвало полемическую реакцию П. Бажова, который, наоборот, прочитывал Мамина через заводской, рабочий Урал. Во время войны для Пришвина становятся значимыми размышления Мамина о покорении Сибири Ермаком, которые представляют собой неофициальную историографию Сибири. В последних дневниковых записях Пришвина, посвященных 100-летию Мамина, писатель полемизирует с советской идеологизацией Мамина.

**Ключевые слова:** Мамин-Сибиряк; Пришвин; дневник; рецепция; самосознание писателя; духовный путь; социальная психология.

**Цитирование:** *Медведев А. А.* Д. Н. Мамин-Сибиряк в дневниковой рефлексии М. М. Пришвина // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2: Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 2 (187). С. 122–134.

*Поступила в редакцию 28.01.2019*

*Принята к печати 18.04.2019*

**Aleksandr A. Medvedev**

*Tyumen State University*  
Tyumen, Russia

## **D. N. MAMIN-SIBIRYAK IN THE DIARY REFLECTIONS OF M. M. PRISHVIN**

This article examines previously unstudied Prishvin's reflection on Mamin-Sibiryak in his *Diary* of the 1930s–1950s. Prishvin focused on Mamin-Sibiryak's creative work between the 1930s and 1950s. For Prishvin, Mamin's texts become the most important source of in-depth understanding of the national and social psychology (value attitudes) of the Russian people and Ural merchants. Prishvin correlates the *The Tale of Igor's Campaign* in the “great time” of Russian history with Mamin-Sibiryak's novel *Features from Pepko's Life* (1894), revealing the inherent feeling of patriotism that brings these texts together. Mamin is important for Prishvin as a spokesman for life-affirming trends in literature despite the nihilism of his time. It is important for Prishvin that Mamin, like he himself, avoided both the utopianism of the revolutionary intelligentsia and the utopianism of symbolists in his work. Prishvin destroys the prevailing ideological stereotype about Mamin as a naturalist writer (“Russian Zola”). Prishvin puts Mamin in the same row with Tolstoy and Aksakov, seeing himself as a successor of this line in literature. The figure of Mamin becomes key for Prishvin in his writer's self-determination and his creative path. Prishvin perceives Mamin as a successor of the tradition of Russian classical literature, which goes back to the ancient Russian tradition (*The Tale of Igor's Campaign*). Prishvin's understanding of the Urals in the perception of Mamin as a “homely province” caused a polemical reaction of P. Bazhov, who interpreted Mamin's works through the prism of industrial workers' Urals. During the war, for Prishvin, Mamin's reflections on the conquest of Siberia by Yermak, which constitute the unofficial historiography of Siberia, become significant. His last diary entries are devoted to Mamin's 100<sup>th</sup> birthday where Prishvin argues with the Soviet ideologisation of Mamin.

**Key words:** Mamin-Sibiryak; Prishvin; diary; reception; writer's self-consciousness; spiritual path; social psychology.

**Citation:** Medvedev, A. A. (2019). D. N. Mamin-Sibiriak v dnevnikovoi refleksii M. M. Prishvina [D. N. Mamin-Sibiryak in the Diary Reflections of M. M. Prishvin]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts*, 21, 2 (187), 122–134.

*Submitted on 28 January, 2019*

*Accepted on 18 April, 2019*

Первые размышления М. М. Пришвина о Мамине-Сибиряке возникают во время его поездки на Урал в 1931 г. Индустриализация Урала произвела на Пришвина тяжелое впечатление, он увидел в ней разрушение природы, памяти и рабское отношение к человеку. Так, в январе-феврале 1931 г. он писал о промышленных названиях поселков на Урале («Завод») и Уралмашстрое:

...когда скажут «Завод», то у меня, по крайней мере, складывается при этом так, что люди тут, как икра для магазина, не для себя, а для Завода. И это действительно так было на Урале, где заводы обслуживались крепостными и каторжниками... <...> И ни одного дерева второпях не оставили на утеху будущего нового человека. До того неудержимо вперед стремится новый человек, что в этом чрезвычайном усердии беспощаден к прошлому, к лесу [Пришвин, 2006, с. 324–325].

В контексте этой новой индустриализации Урала Пришвин выписывает в дневник цитату о золотодобыче на Урале из романа «Золото» (1892) [Мамин-Сибиряк, т. 4, с. 226]:

Кедровские дачи из конца в конец кипели промысловой работой. Не было такой речки или ложка, где не желтели бы кучки взрытой земли и не чернели заброшенные шурфы, залитые водой [Пришвин, 2006, с. 327].

Тексты Мамина для Пришвина — важнейший источник для понимания национальной и социальной психологии русского человека<sup>1</sup>. 1 апреля 1931 г. он выписывает цитату из того же романа о том, что алкоголь снимает в русском человеке социальные условности, барьеры, раскрывая в нем не худшие, как казалось бы, а лучшие качества [Пришвин, 2006, с. 327]:

В кабацких завсегдатаях и пропойщиках проснулась и жалость к убиваемой женщине, и совесть, и страх, именно те законно-хорошие чувства, которых недоставало в данный момент тайбольцам, знавшим обо всем, что делается в доме Кожина. Как это ни странно, но взрыв гуманных чувств произошел именно в кабаке, и в голове этого движения встал отпетый кабатчик Ермошка [Мамин-Сибиряк, т. 4, с. 222].

Эту же психологическую черту Пришвин наблюдает и в современной ему советской реальности, в записи от 4 апреля 1931 г. он приводит слова о том, что алкоголь снимает политические запреты:

— А нет! — сказала Марья, — вот и мы с вами сидели, в рот воды набрали, а выпили и заговорили про ум и про все. (Сюда же из Мамина-Сибиряка: о гуманности в кабаке, см. выше) [Пришвин, 2006, с. 359].

16 декабря 1939 г. Пришвин выписывает из романа «Хлеб» две фразы: «Из Мамина («Хлеб»): «При достатке и вор не ворует». — «Кислая шерсть!»» [Пришвин, 2010, с. 490]. Первая фраза является наблюдением о том, что воровство у крестьян вытекает из их бедности и что зажиточному крестьянству нет необходимости воровать («от достатка и вор не ворует») [Мамин-Сибиряк, т. 6, с. 71]. Вторая представляет собой особо изощренное ругательство: «— Што-о?! Да как ты смеешь, кислая шерсть?» [Там же, с. 65]; «— Нет, ты скажи, куда ты прешь-то, кислая шерсть? — наступал хозяин» [Там же, с. 240].

<sup>1</sup> О русском человеке как «ментально-эстетическом комплексе» в творчестве Мамина см. подробнее: [Зырянов].

Значимым для понимания социальной психологии уральского купечества для Пришвина становится грубое и жесткое обращение отца Михея Зотыча Колобова к сыну Галактиону из того же романа:

22 декабря 1939 г. Читаю «Хлеб». Мамин вызвал во мне понимание поступка Клычкова в столовой и почему купцы были жестоки к детям (создавали их «будущее»). И еще необходимость экономическая быть жестоким и что капитализм в пространстве (заполнить весь мир своей породой, как осина) и во времени (взять все будущее) [Пришвин, 2010, с. 492].

В этом же ключе сам отец объяснял свое «безжалостное» отношение к сыну ради его же блага:

А ежели я его люблю, вот этого самого Галактиона? Оттого я женил за благо время и денег не дал, когда в отдел он пошел... Ведь умница Галактион-то, а когда в силу войдет, так и никого бояться не будет. Теперь-то вон как в нем совесть ходит... А тут еще отец ему спуску не дает [Мамин-Сибиряк, т. 6, с. 170].

Более глубокая рефлексия над текстами Мамина-Сибиряка начинается у Пришвина в январе 1940 г., в связи с подготовкой выступления в Литературном музее (Москва) со «Словом о Мамине-Сибиряке», которое состоялось 10 февраля 1940 г.<sup>2</sup> Вероятно, Пришвин согласился выступить по просьбе племянника Мамина и исследователя его творчества Б. Д. Удинцева, который после возвращения из ссылки в 1936 г. работал в Литературном музее. 16 января 1940 г. Пришвин набрасывает в дневнике план выступления в Комиссии по литературному наследию Мамина<sup>3</sup>. В этом плане Пришвин соотносит, говоря словами М. Бахтина, в «большом времени» русской истории «Слово о полку Игореве»<sup>4</sup> и роман «Черты из жизни Пепко» (1894), выявляя сближающее эти тексты внутреннее чувство родины: «Любовь к отечеству: “Слово о полку Игореве” или Мамин: будут знать “Слово” — “Слово” не скажет о Мамине, но Мамин скажет о “Слове”» [Пришвин, 2012а, с. 16]. Необходимо учесть, что Пришвин пишет о патриотизме Мамина, полемизируя с современным ему советским патриотизмом, что становится понятно из записи от 20 января:

<sup>2</sup> Машинописная стенограмма выступления с правкой автора хранится в РГАЛИ [ф. 1125, оп. 2, д. 314, л. 1–21] (готовится к публикации автором этой статьи).

<sup>3</sup> В тот же день Пришвин устраивает «смотрины» В. Д. Лебедевой, которую Удинцев, хорошо зная лично, рекомендовал Пришвину в качестве секретаря для работы над его дневниками. Валерия Дмитриевна станет женой Пришвина, а невольного виновника этой судьбоносной встречи Пришвин шутливо называл «сватушкой» [Удинцев, с. 186]. Об обстоятельствах знакомства см. также: [Пришвина, с. 189–190].

<sup>4</sup> 4 марта 1921 г., помимо «Слова», Пришвин называет еще два «художественных памятника русского патриотизма» — «Историю государства Российского» (1818–1829) Н. М. Карамзина и «Слово о погибели Русской Земли» (1917) А. М. Ремизова [Пришвин, 1995, с. 144].

...в настоящем содержится все прошлое. <...> Не надо гоняться за Александром Невским<sup>5</sup> и притягивать, все это есть в Мамине: [откроют] книги Мамина, о Невском и Игоре сами поймут [Пришвин, 2012а, с. 20].

Для Пришвина патриотизм Мамина маркирован не идеологически, а в традиции русской литературы XIX в., в которой понятие «родина» не писалось с прописной буквы<sup>6</sup>.

16 января 1940 г. Пришвин размышляет над автобиографическим романом Мамина «Черты из жизни Пепко», который он выделяет как особенно для него значимый:

У Мамина чудесно изображена бесследно преходящая юность. Куда-то исчезла «Белая девушка», и это еще что, взамен пустоты настоящего создается мечта [Пришвин, 2012а, с. 16, 775];

Черты из жизни Пепко — это поэма о голодном поваре жизни. И что ужасно: как будто оно в отношении писателя так и быть должно <прписка: мои первые книги> сытым писателем так же трудно быть, как голодным поваром. Сытые писатели — все-таки есть голодные повара (18 января 1940 г.) [Там же, с. 17];

Самое близкое мне повествование Мамина — это «Черты из жизни Пепко», где описывается «дурь» юности, и как она проходит, и как показывается дно жизни, похожей на мелкую городскую речку с ее разбитым чайником и дырявыми кастрюлями и всякой дрянью. И как, когда показывается дно, является оторопь от жизни и хочется вернуть себе «дурь». Делают серьезные усилия, и «дурь» становится действующей силой, поэзией писательства. В «Пепко» вскрывается внутренняя двигательная сила всего написанного Маминым; «Пепко» есть свидетельство, что Мамин — настоящий поэт, независимый от внешних условий (19 января 1940 г.) [Там же, с. 18].

<sup>5</sup> Имеется в виду советский художественный исторический фильм «Александр Невский» (реж. Сергей Эйзенштейн, «Мосфильм», 1938), который стал знаковым явлением соцреализма в советском кино и выражением антизападной, национально-патриотической пропаганды (Александр Невский был включен в пантеон советских героев). Сам режиссер писал в 1939 г., что фильм наполнен «темой патриотизма и национального отпора агрессору»: «Взяв исторический эпизод, относящийся к XIII веку, когда предки нынешних фашистов — ливонские и тевтонские рыцари — повели систематическую борьбу за завоевание и наступление на Восток с тем, чтобы покорять славянские и прочие народности совершенно в том же духе, как под такими же испуганными лозунгами и с таким же фанатизмом этого добивается сегодняшняя фашистская Германия» [Эйзенштейн, с. 163]. А. Довженко в 1940 г. отмечал излишнюю пафосность фильма: «Есть как бы угодливое желание притянуть историю поближе к нам и даже реплики героев перемешать чуть ли не с речами вождей. Получается так, что Александра Невского можно, право, назначить секретарем Псковского обкома...» [Довженко, с. 8].

<sup>6</sup> На это в свое время внимание обратил В. В. Виноградов, отметивший ошибку пушкинистов в интерпретации слова «родина» в поэзии Пушкина, в языке которого следует различать слова «родина» (место рождения) и «отечество, отчизна»: «Слово *родина* в языке Пушкина не имело того острого общественно-политического и притом революционного смысла, который был связан со словом *отечество* (и отчасти со словом *отчизна*)» [Виноградов, с. 220–221]. В частности, Виноградов приводит пример из «Дубровского»: «Через 10 минут въехал он на барский Двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем были только что посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями» [Там же, с. 221–222].

В этом автобиографическом романе<sup>7</sup> герой размышляет о литературе и искусстве, выражая художественное кредо писателя, стремящегося избежать крайностей романтизма и натурализма, что было важно и для Пришвина:

...придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их видеть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процесс в психологии творчества, еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь реально живого существа. В самом деле, какая страшная сила заложена в произведениях, созданные две тысячи лет назад и вызывающие у нас слезы на глазах сейчас. Это такая неизмеримо-громадная задача, перед которой цепенел ум. Нужно было быть избранником, солью земли, чтобы набраться решимости приступить к такой задаче [Мамин-Сибиряк, т. 5, с. 130–131].

Мамин связывает психологию своего героя с его родным уральским ландшафтом:

...сам Пепко с его оригинальной, немного угловатой психологией, как те камни, которые высились на его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно обрастала одним из тех чужедых, бородатых лишайников, какими в тайге глушились родные ели. А из-под этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всеми прищущими ей достоинствами и недостатками [Там же, с. 30].

Этот уральский пейзаж противопоставлен «чухонскому» петербургскому пространству, негативно влияющему на героя:

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты молодая мысль сама собой уносится к далекому родному гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные зори, и душа начинала ныть под наплывом какого-то неясного противоречия. Стоило ли ехать сюда, на туманный чухонский север, и не лучше ли было бы оставаться там, откуда прилетают эти письма в самодельных конвертах с сургучными печатями, сохраняя еще в себе как бы теплоту любящей руки?.. Меня начинал пугать преждевременный скептицизм Пепки... [Там же, с. 30–31].

Концепт родины раскрывается в романе через литературный пейзаж русских классиков, у которых учится автобиографический герой:

Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем а la Гоголь, потом старательно усвоил себе манеру красивых описаний а la Тургенев и только под конец понял, что и гоголевская природа, и тургеневская — обе не русские, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная — у Лермонтова, — эти два автора навсегда остались для меня недостижимыми образцами [Там же, с. 57].

Но самым значимым опытом для героя Мамина становится русская пейзажная живопись, которая является для него высшим экфрастическим образцом:

---

<sup>7</sup> О проблеме автобиографичности этого романа см. подробнее: [Созина].

...русские художники-пейзажисты нового реального направления... схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально-русскую хорошую тоску на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная... [Мамин-Сибиряк, т. 5, с. 57].

Мамин описывает пейзажи, которые он мог видеть в коллекции Эрмитажа того периода и на выставках 1870-х гг.<sup>8</sup>:

Северные сумерки и рассветы с их шелковым небом, молочной мглой и трепетным полусвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро с вечером сходится, — все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря — тоже наше и тоже с оттенком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветики, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая среднерусская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек, — все это только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячами ярких живых красок-цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, круглившимися купами южных деревьев. С каким удовольствием я проверял свои описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению [Там же, с. 57–58].

В записи от 22 декабря 1939 г. Пришвин упоминает посвященный жизни сплавщиков по Чусовой очерк Мамина «Бойцы» (1883) в контексте проблемы пейзажного описания:

Природа создает простейшие средства, и кто близок к природе, создает тоже просто, как Лев Толстой. Чем скупей описание, чем меньше слов, тем сильнее ландшафт. Лучше всего бы даже молчать... («Бойцы») [Пришвин, 2010, с. 492].

Мамин важен для Пришвина как выразитель жизнеутверждающей тенденции в литературе, вопреки преобладающему нигилизму его времени, о котором Мамин писал:

<sup>8</sup> Вероятнее всего, Мамин имеет в виду живопись А. Куинджи («Ладожское озеро», 1870; «Осенняя распутица», 1872, ГРМ, Санкт-Петербург; «На острове Валааме», 1873; «Забывшая деревня», 1874, ГТГ, Москва), А. Боголюбова («Лунная ночь на море», 1871, ГРМ, Санкт-Петербург), Ф. Васильева («Болото в лесу», 1872, ГРМ, Санкт-Петербург), А. Саврасова («Закат над болотом», 1871; «Оттепель. Ярославль», 1874; «Радуга», 1875; «Разлив Волги под Ярославлем», 1871; «Степь днем», 1852, ГРМ, Санкт-Петербург), И. Шишкина («Вид на острове Валааме (местность Кукко)», 1859–1860; «Лесная глушь», 1872, ГРМ, Санкт-Петербург).



«Несовершенство» нашей русской жизни — избитый конек всех русских авто-ров, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать... Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки и роковые росстани (направо поедешь — сам сыт, конь голоден, налево — конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь — не видать ни коня, ни головы), по которым ездили могучие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть... [Мамин-Сибиряк, т. 5, с. 170].

Это утверждение жизни, но уже в советскую эпоху, близко Пришвину, который противостоит новому советскому нигилизму, так, в поздней записи от 13 августа 1951 г. он признавался:

Тяжело думать, что революция, начиная с Октября и до сейчас, не дала мне малейшей радости жизни, и я радовался, как бы преодолевая тяжкую болезнь революции. И в то же время я никогда не желал быть где-нибудь в другом месте, в каких-нибудь счастливых местах без революций. Все время внутри революции я сохранялся, как спящая почка будущего. Мои произведения зеленели тоже как бы из спящих почек, и, вопреки всему, спящие почки хранят будущее [Пришвин, 2016, с. 476].

С нигилизмом Пришвин связывает и сложившийся идеологический стереотип о Мамине как писателе-натуралисте («русский Золя»):

Почему же у нас Мамина не узнали в лицо? Я отвечаю: потому не узнали, что смотрели все в сторону разрушения, а не утверждения родины. Тогда патриоты были не нужны и даровитому русскому писателю наклеили чужое лицо французского писателя. В то же время как писателю почти что французу наклеили русское лицо (Тургенев) (20 января 1940 г.) [Пришвин, 2012а, с. 19–20].

Фигура Мамина стала одной из ключевых для Пришвина в его писательском самоопределении в начале XX в. Финал жизненного пути писателя в 1912 г. Пришвин связывает с началом собственного писательского пути. При этом Пришвину важно, что в этом самоопределении он преодолел влияние народничества (марксизма) и символизма:

Мамин умирал, но в этой кузнице для меня хотя бы ковалась та вера, которая держит меня и сейчас, и [это счастье]. <...> Конец жизни Мамина является началом моей литературной дороги. Как и Мамин, с детства я был окружен теми святыми народниками, от нравственных пут которых меня спас мой временный, но очень страстный марксизм. Но время сказывалось, и что умирающему Мамину казалось отвратительным — символизм, то для меня было соблазном, открывающим пути во все стороны. Давили святые народники и святые марксисты [давили] меня своей нравственностью — хочу быть самим собой (28 января 1940 г.) [Там же, с. 27].

Для Пришвина значим опыт личностного самостояния Мамина, вопреки течениям того времени избежавшего «бездомности» русской интеллигенции — идеологической оторванности от органики жизни, проявившейся как в утопизме



революционной интеллигенции (народники, марксисты), так и в утопизме символистов:

Революционеры все это хорошее — любовь к отечеству (Мамин), откладывали на будущее, а Мамин был в настоящем. А символисты связаны с революционной интеллигенцией отрицанием: те [революционеры] — боги, эти: я — бог! Мамин же был органически здоровый человек, был «дома», а не искал его: дом у него был. <...> Мамин же и тогда стоял на своих ногах, на своем уголке земли, на Урале. Почему Мамин не сомкнулся с движением новой литературы и почему Ремизов<sup>9</sup>, Окулич, все сошлись с революцией? (20 января 1940 г.) [Пришвин, 2012а, с. 21].

Не там где-то за перевалом (за войной, за революцией) наше счастье, наше дело, наша подлинная жизнь, а здесь, и дальше идти больше некуда, тут, куда мы пришли, ты и должен строить свой дом (28 января 1940 г.) [Там же, с. 26].

Пришвин ставит Мамина в один ряд с Л. Толстым и С. Аксаковым, видя себя продолжателем этой «органической» линии в русской литературе: «Мамин чувствовал органичный строй русской жизни, от которого уходят и к которому возвращаются блудные дети его. Это чувство и отличает его от интеллигенции и писателей, кроме Льва Толстого» (21 января 1940 г.) [Там же, с. 22]; «Только двух писателей, для которых чувство семьи бесспорно, можно назвать: это Аксаков и Мамин-Сибиряк» (24 января 1940 г.) [Там же].

Свой духовный путь Пришвин соотносит с духовным путем героя Мамина через притчу о блудном сыне, отсылая к роману о Пепко, в финале которого герой возвращается на родину: «у Мамина: блудный сын из богемы, больной, измученный, возвращается к отцу на родину и восстанавливает родственную связь со своим краем» (20 января 1940 г.) [Там же, с. 19]; «Интеллигенция и Мамин: Мамин дома, и я — блудное дитя» (21 января 1940 г.) [Там же, с. 21]; «Кульотца у Мамина. Уезжая от родных мест, становился меньше. А я становился себя больше...» (23 января 1940 г.) [Там же, с. 22]. Таким образом, Пришвин осознает себя продолжателем русской классической традиции Мамина в утверждении вечных ценностей (дом, родина, любовь к настоящему, культурная традиция (быт), христианская культура...).

Выступление Пришвина со «Словом о Мамине-Сибиряке», развивающим названные в дневнике идеи, состоялось в Литературном музее 10 февраля 1940 г.:

В зале было чисто чрезвычайно и бездушно. <...> Читал и чувствовал полное отсутствие слушателя: музей как музей. <...> Но тем сильнее поднимается в душе «Песнь Песней» и стоит закрыть глаза, как появляется Валерия с ее вечной задумчивостью, обрываемой улыбками [Пришвин, 2012а, с. 36];

Не было на моей памяти собрано столько людей, заменяющих друг друга, как в Литературном музее десятого февраля и комиссии Мамина. Не было еще такой внешней

<sup>9</sup> Хотя символисты были Пришвину ближе «натуралистов-народников», тем не менее, он признавал, что они «лишились восприятия действительной жизни и страшно мучились этим (Вяч. Иванов, Ремизов)»: «Непосредственное чувство жизни своего (страстно любимого) народа совершенно их покинуло» (8 апреля 1920 г.) [Пришвин, 1995, с. 51].

и внутренней пустоты. В этой пустой чистоте зала среди заменяющих друг друга людей невидимо присутствовала Незаменяемая (12 февраля 1940 г.) [Пришвин, 2012а, с. 38].

Этот контраст советских безликих слушателей с пробуждающейся любовью Пришвина к Валерии Дмитриевне (раскрывающей в человеке личность) становится понятен из предшествующей записи, от 7 января 1940 г., в которой Пришвин вспоминал свое юношеское увлечение марксизмом («Левиафан»), от которого его спасла любовь к В. Измаковой:

...я был именно тем самым безлико-общественным существом, какое сейчас обслуживает зверя Левиафана. И вот этот процесс олевиафанивания жизни пошел без меня, я же, благодаря любовной катастрофе, прозрел и забрался в нору. И все писательство мое, как борьба за личность, за самость, развилось в этой норе [Там же, с. 9].

7–11 февраля 1941 г. в Уральском университете состоялась первая конференция, посвященная Мамину-Сибиряку, на которой П. П. Бажов был председателем оргкомитета [Летопись жизни и творчества, с. 537]. На эту конференцию Пришвин прислал приветственное письмо, которое зачитывалось ее участникам [Блажес, с. 433]. Пришвинское понимание Урала в восприятии Мамина как «домовитой провинции» вызвало полемическую реакцию Бажова, которую привел в своих воспоминаниях И. А. Дергачев:

Была в этом письме мысль о том, что у Мамина особенно развито чувство Родины, что он обладал особым качеством — «домовитостью». <...> Что-то задело его в приветствии Пришвина, которого он очень ценил. «Да-а, домовитая провинция», — повторил он одно из выражений Пришвина. Пожалуй, это больше к самому Пришвину подходит. У него чувство Родины какое-то домашнее, мягкое, будто хозяин все осматривает и в порядок приводит. И провинция тоже чувствуется. Ну, не столичный взгляд. У Мамина все-таки не то. Чувство родины есть, как же, «Родина — наша вторая мать», хорошо сказано, — привел он слова писателя, процитированные Е. А. Боголюбовым [Дергачев, с. 346].

В отличие от Пришвина, воспринимающего Мамина через категорию Дома, Бажов прочитывает «родину» Мамина в советском ключе — через заводской, рабочий Урал:

Мамин остро чувствовал, чем живет Урал, знал его историю, экономику, хозяйство, технику, которой пользовались люди, самих людей, с которыми он уважительно считается всегда. И знал он их своеглазно, а не по книжкам. И природу тоже. Вот рассказывает писатель, как барка «отуливается», так понимаешь, что глазом схвачено и слова такие, как об этом потом где-нибудь бурлак посмышленнее рассказывает. Ну конечно, слова, верно, почищены. Без добавлений, как говорят. Так вот, у Мамина, видно, не просто «домовитая» провинция выглядит, а наш Урал, рабочий, заставляет по-хозяйски ко всему подойти. В «Трех концах» обо всем сказал, обо всем подумал, и возмущение бесхозяйственностью, тем, что мастеровых не ценят, не считаются с ними, откуда это? Да от самих рабочих. Правда, детали рабочего быта Мамин избегает рисовать. Больше о том, что на глазах у всех проходит: сенокос, улица, рассказы

друг о друге. Это оттого, что писал он сочно и ярко только о том, что увидел, узнал хорошо, а не знает, так промолчит [Дергачев, с. 346–347].

Во время войны Пришвин размышляет о русском менталитете, видя в нем один из ключевых факторов победы. В понимании русского характера Пришвин опирается на исторический экскурс Мамина в очерке «Бойцы»:

Исторические перспективы России, см. у Мамина, рассказ “Бойцы” (это к спору с Птицыным по поводу борьбы разума немецкого с русским безобразием). Мамин: Истинными завоевателями и колонизаторами всей Сибирской Окраины были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московские волокиты, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли «брести врозь» целые области (22 декабря 1943 г.) [Пришвин, 2012б, с. 344].

Пришвин имеет в виду размышления Мамина о покорении Сибири Ермаком, которые, по сути, представляют собой неофициальную историографию Сибири:

Созидание Москвы и патриархальная неурядица московского уклада отзывались на худом народе крайне тяжело; под гнетом этой неурядицы создался неистощимый запас голутвенных, обнищавших и до конца оскуделых худых людишек, которые с замечательной энергией тянули к излюбленным русским человеком украинам, а в том числе и на восток, на Камень, как называли тогда Урал, где сибирская украинка представлялась еще со времен новгородских ушкуйников самой лакомой приманкой. Истинными завоевателями и колонизаторами всей сибирской украинки были не Строгановы, не Ермак и сменившие его царские воеводы, а московская волокита, воеводы, подьячие, земские старосты, тяжелые подати и разбойные люди, которые заставляли «брести врознь» целые области [Мамин-Сибиряк, т. 2, с. 345–346].

В записи от 23 декабря 1943 г. Пришвин отмечает: «Очерк Мамина “Бойцы” является ключом к социальным вопросам России. Понять эту войну — надо понять сущность отношений солдат и начальников» [Пришвин, 2012б, с. 662]. И 4 января 1944 г. Пришвин снова отсылает к этому очерку, размышляя «о генерале европейском и нашем генерале-товарище, что это величины качественно иные»:

...см. рассказ Мамина «Бойцы». Мамин считает завоевателями Сибири не Строганова, не Ермака, а московскую волокиту и «голутвенных» людей, и вот тут-то и возникал наш нынешний «товарищ-генерал», т. е. из среды голутвенных людей, а не из рыцарства [Пришвин, 2013, с. 7].

В последних записях Пришвина, посвященных 100-летию Мамина, писатель полемизирует с советской идеологизацией писателя:

...теперь из Мамина делают идеолога рабочего класса и даже скорей экономиста, чем художника. <...> стараются поднять и сомкнуть Мамина с шагающим экскаватором. Вот и Горький тут стал неизменно «гениальным», как механизм (19 ноября 1952 г.) [Пришвин, 2016, с. 229].

Таким образом, творчество Мамина-Сибиряка актуализируется Пришвиным в советской реальности 1930–1950-х гг., когда тексты писателя становятся для

Пришвина важнейшим источником для понимания национальной и социальной психологии русского человека, уральского купечества. Пришвин «погружает» тексты Мамина (роман «Черты из жизни Пепко») в «большое время» русской культуры, выявляя в них чувство родины, восходящее к «Слову о полку Игореве», при этом полемизируя с современным ему советским патриотизмом. Пришвин разрушает сложившийся идеологический стереотип о Мамине как писателе-натуралисте («русский Золя»).

Фигура Мамина стала одной из ключевых для Пришвина в его писательском самоопределении, самосознании себя как писателя. Финал жизненного пути Мамина Пришвин связывает с началом собственного писательского пути. Для Пришвина значим опыт личностного самостояния Мамина, вопреки течениям того времени избежавшего «бездомности» русской интеллигенции — идеологической оторванности от органики жизни, проявившейся как в утопии революционной интеллигенции (народники, марксисты), так и в утопии символистов. Мамин важен для Пришвина как выразитель «органической» линии в русской литературе (Толстой, Аксаков), вопреки преобладающему нигилизму того периода. Пришвин осознает себя продолжателем русской классической литературы в лице Мамина в утверждении вечных ценностей (дом, родина, любовь к настоящему, культурная традиция (быт), христианская культура...).

### Источники

- Мамин-Сибиряк Д. Н.* Собрание сочинений : в 6 т. М. : Худож. лит., 1980–1981.  
*Пришвин М. М.* Дневники. 1920–1922. М. : Моск. рабочий, 1995.  
*Пришвин М. М.* Дневники. 1930–1931. СПб. : Росток, 2006.  
*Пришвин М. М.* Дневники. 1938–1939. СПб. : Росток, 2010.  
*Пришвин М. М.* Дневники. 1940–1941. М. : РОССПЭН, 2012.  
*Пришвин М. М.* Дневники. 1942–1943. М. : РОССПЭН, 2012.  
*Пришвин М. М.* Дневники. 1944–1945. М. : Новый хронограф, 2013.  
*Пришвин М. М.* Дневники. 1950–1951. СПб. : Росток, 2016.  
 РГАЛИ. Ф. 1125. Оп. 2. Д. 314.

### Исследования

- Блажес В.* Уральский государственный университет и П. П. Бажов // Бажовская энциклопедия / ред.-сост. В. В. Блажес, М. А. Литовская. Екатеринбург : Сократ : Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 432–437.  
*Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М. : Гослитиздат, 1959.  
*Дергачев И.* Дела литературные // Мастер, мудрец, сказочник. Воспоминания о П. Бажове / сост. В. Стариков. М. : Сов. писатель, 1978. С. 342–353.  
*Довженко А.* Глядя в глаза // Искусство кино. 1965. № 3. С. 8.  
*Зырянов О. В.* На перекрестке национально-культурных традиций: русский человек в творчестве Д. Н. Мамина-Сибиряка // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2015. № 3 (142). С. 83–97.  
*Летопись жизни и творчества П. П. Бажова* // Бажовская энциклопедия / ред.-сост. В. В. Блажес, М. А. Литовская. Екатеринбург : Сократ : Изд-во Урал. ун-та, 2008. С. 506–564.  
*Пришвина В. Д.* Встреча // Воспоминания о Михаиле Пришвине : сборник / [сост. Я. З. Гришвина, Л. А. Рязанова]. М. : Сов. писатель, 1991. С. 189–210.

Созина Е. К. «Черты из жизни Пепко» как автобиографический роман // Творческое наследие Д. Н. Мамина-Сибиряка : итоги и перспективы изучения : [К 160-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти писателя] / под общ. ред. О. В. Зырянова. Екатеринбург : Банк культурной информации, 2013. С. 275–291.

Удинцев Г. Б. След души // Воспоминания о Михаиле Пришвине : сборник / [сост. Я. З. Гришина, Л. А. Рязанова]. М. : Сов. писатель, 1991. С. 184–188.

Эйзенштейн С. М. Патриотизм — моя тема // Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. М. : Искусство, 1964. Т. 1. С. 161–164.

## References

Blazhes, V. (2008). Ural'skii gosudarstvennyi universitet i P. P. Bazhov [Ural State University and P. P. Bazhov]. In V. V. Blazhes, & M. A. Litovskaya (Eds.), *Bazhovskaia entsiklopediia* [Bazhov Encyclopedia] (pp. 432–437). Yekaterinburg: Sokrat; Ural University Press. (In Russian)

Dergachev, I. (1978). Dela literaturnye [Literary Affairs]. In V. Starikov (Comp.), *Master, mudrets, skazochnik. Vospominaniia o P. Bazhove* [Master, Sage, Storyteller. Memories of P. Bazhov] (pp. 342–353). Moscow: Sovetskii pisatel'. (In Russian)

Dovzhenko, A. (1965). Gliadia v glaza [Looking into the Eyes]. *Iskusstvo kino*, 3, 8. (In Russian)

Eisenstein, S. M. (1964). Patriotizm — moia tema [Patriotism is My Topic]. In S. M. Eisenstein, *Izbrannye proizvedeniia* [Selected Works] (Vol. 1, pp. 161–164). Moscow: Iskusstvo. (In Russian)

Letopis' zhizni i tvorchestva P. P. Bazhova [Chronicle of the Life and Work of P. P. Bazhov]. In V. V. Blazhes, & M. A. Litovskaya (Eds.), *Bazhovskaia entsiklopediia* [Bazhov Encyclopedia] (pp. 506–564). Yekaterinburg: Sokrat; Ural University Press. (In Russian)

Prishvina, V. D. (1991). Vstrecha [Meeting]. In Ya. Z. Grishina, & L. A. Ryazanova (Comps.), *Vospominaniia o Mikhaile Prishvine: sbornik* [Memories about Mikhail Prishvin] (pp. 189–210). Moscow: Sovetskii pisatel'. (In Russian)

Sozina, E. K. (2013). "Cherty iz zhizni Pepko" kak avtobiograficheskii roman [Features from the Life of Pepko as an Autobiographical Novel]. In O. V. Zyryanov (Ed.), *Tvorcheskoe nasledie D. N. Mamina-Sibiriaka: itogi i perspektivy izuchenii: [K 160-letiiu so dnia rozhdeniia i 100-letiiu so dnia smerti pisatel'ia]* [Creative Heritage of D. N. Mamin-Sibiriyak: Results and Perspectives of Studying: [For the 160<sup>th</sup> Birthday and the 100<sup>th</sup> Anniversary of the Writer's Death]] (pp. 275–291). Yekaterinburg: Bank kul'turnoi informatsii. (In Russian)

Udintsev, G. B. (1991). Sled dushi [The Trace of the Soul]. In Ya. Z. Grishina, & L. A. Ryazanova (Comps.), *Vospominaniia o Mikhaile Prishvine: sbornik* [Memories about Mikhail Prishvin] (pp. 184–188). Moscow: Sovetskii pisatel'. (In Russian)

Vinogradov, V. V. (1959). *O iazyke khudozhestvennoi literatury* [On the Language of Fiction]. Moscow: Goslitizdat. (In Russian)

Zyryanov, O. V. (2015). Na perekrestke natsional'no-kul'turnykh traditsii: russkii chelovek v tvorchestve D. N. Mamina-Sibiriaka [At the Crossroads of National Cultural Traditions: The Russian People in the Works of D. N. Mamin-Sibiriyak]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts*, 3 (142), 83–97. (In Russian)

**Медведев Александр Александрович**  
кандидат филологических наук, доцент  
кафедры русской и зарубежной литературы  
Тюменский государственный университет  
625003, Тюмень, ул. Республики, 9  
E-mail: amedv1@yandex.ru

**Medvedev, Aleksandr Aleksandrovich**  
PhD (Philology), Associate Professor  
Department of Russian and Foreign Literature  
Tyumen State University  
9, Respublika Str., 625003 Tyumen, Russia  
Email: amedv1@yandex.ru  
ORCID: 0000-0002-7450-5373  
Scopus ID: 56799963400